

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



А. И. Куприн
**ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Александр Куприн

Гранатовый браслет (сборник)

Издательство «Детская литература»

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

Куприн А. И.

Гранатовый браслет (сборник) / А. И. Куприн — Издательство «Детская литература», — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-005518-8

В книгу вошли повести и рассказы замечательного русского писателя Александра Ивановича Куприна. Повесть «Гранатовый браслет» включена в перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению». Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-4

ISBN 978-5-08-005518-8

© Куприн А. И.
© Издательство «Детская литература»

Содержание

«Теплота ко всему живущему»	7
Олеся	19
I	19
II	23
III	26
IV	32
V	36
VI	40
VII	43
VIII	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Александр Иванович Куприн

Гранатовый браслет

© Этов В. И., составление, вступительная статья, 1988

© Петров М. Ф., наследники, иллюстрации, 1997

© Оформление серии, примечания. АО «Издательство «Детская литература», 2016

* * *



А. Куприн

1870—1938

«Теплота ко всему живущему»

(Урок и Куприна)

«Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает, а другие люди заражаются этими чувствами и переживаниями». Этими словами Л. Н. Толстой как бы подытожил развитие русской реалистической литературы, которая к концу прошлого века достигла необычайно высокого умения «заражать» читателя самыми возвышенными переживаниями и чувствами. Среди тех, кто наследовал это умение на рубеже двух веков, был и Александр Иванович Куприн, младший современник Толстого и Чехова.

Он прошел большую и трудную школу жизни, его рассказы и повести возникли на основе богатого личного опыта. По убеждению Куприна, «писатель должен изучать жизнь, не отворачиваясь ни от чего... Скверно ли пахнет, грязно ли – иди, наблюдай. Не пристанет, а живых документов зато – не огребешь лопатой!.. Писатель ничем и никем не должен пренебрегать».

Куприн родился в 1870 году в Наровчате, небольшом городке Пензенской губернии. О городе ходила в те поры такая поговорка: «Наровчат – одни колышки торчат». Через каждые два года на третий город сгорал дотла. Куприн рано осиротел: его отец, мелкий чиновник, служивший письмоводителем у мирового посредника, умер от холеры, когда мальчику шел второй год. Его воспитывала мать, женщина широко образованная, происходившая из старого княжеского рода, но не русских, а татарских князей. Сам писатель шутливо именовал себя потомком Ланг Темира (Тамерлана), но демократично подчеркивал, что он-то презирает «эту чепуху».

Да и было от чего: жизнь Куприна сложилась не по канонам жизни отпрысков знатной аристократии. Немало тайных страданий перенес он, живя с матерью после смерти отца в Московском вдовьем пансионе, а затем в Разумовском пансионе, куда его определили учиться «по сиротству». Позднее Куприн не без юмора вспоминал о лучших годах, проведенных «под влиянием истеричных старых дев» – «старых, тощих, желтых дев с повязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных» (рассказ «Беглецы»).

Мать прочила сыну военную карьеру. Куприн окончил Московскую военную гимназию, а затем и юнкерское училище. О нравах «военной бурсы» он рассказал много позднее в повести «На переломе» («Кадеты»). Однако военная гимназия (вскоре, во время учебы Куприна, преобразованная в кадетский корпус) не только «закаляла физически», но и положила начало литературному образованию Куприна. С теплым чувством он вспоминал своих преподавателей русского языка и литературы, на чьих уроках звучало живое слово Гоголя, Тургенева, Пушкина, Лермонтова. Именно там, в военной гимназии, зародилась любовь будущего писателя к литературе.

Мастер рассказа, Куприн начинал свой творческий путь со стихов, преимущественно подражательных. Он даже написал сатирическую оду М. Н. Каткову, издателю официальной газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», человеку крайне непопулярному в передовой студенческой среде.

Профессиональным писателем Куприн стал не сразу. Окончив юнкерское училище, он четыре года прослужил в полку на Украине и даже мечтал поступить в Академию Генерального штаба. Но по случайности оказался в числе политически неблагонадежных лиц и к экзаменам в Академию допущен не был. (Рассказывают, что по дороге в Петербург Куприн вступился за честь оскорбленной девушки, ввязался в драку с неким полицейским чином, что и было

оценено как «неблагонадежность».) На этом и кончилась его военная служба. Вскоре Куприн вышел в отставку.

Началась жизнь без постоянных средств к существованию, жизнь, полная мытарств, странствий и приключений. Наверное, ни один русский писатель не испытал себя в стольких профессиях, как Куприн. Он успел поработать в конторе сталелитейного завода в Донбассе, был актером бродячей театральной труппы, управляющим имением, организатором атлетического общества и цирка в Киеве и даже изучал зубоврачебное искусство.

Некоторое время он работал репортером в киевских газетах, получая по полторы-две копейки за строчку. О своих репортерских занятиях Куприн вспоминал со злым юмором – сотрудникам нередко платили, что называется, натурой: «Когда у издателя были объявления из башмачного магазина, вся редакция щеголяла в новой обуви... Потом объявления были шапочные. И в редакции сотрудники приходили все в цилиндрах». Когда же открылся «кредит в кондитерском магазине», голодные сотрудники «стали обладателями пятирублевых тортов».

Из газетных фельетонов составила его первая книжечка – «Киевские типы», изданная там же, в Киеве. Куприн на практике продемонстрировал свой позднейший наказ репортерам: «Видеть всё, знать всё, уметь всё и писать обо всём». Тогда же определилось и его писательское кредо: не бояться жизни, какой бы страшной она ни была, и писать «голую правду».

Бесконечные жизненные странствия, в которых было немало приключений и встреч с самыми различными людьми, дали Куприну богатейший фактический материал для его рассказов и повестей. Этот писатель, который часто казался современникам «свирепым реалистом» (по выражению Бунина) и сам поддерживал за собой подобную репутацию, по сути – нежнейшее сердце, один из тонких знатоков души человека. И в лучших его рассказах есть и юношеская романтика, и глубокая затаенная печаль, и желание проникнуть в тайное тайных человека. Таковы рассказы и повести, публикуемые в этой книге.

* * *

Когда однажды Куприна спросили, какой рассказ он считает лучшим, писатель ответил: «Их два: „Олеся“ и „Река жизни“. Здесь жизнь, свежесть, борьба со старым, отжившим, порывы к новому, лучшему. В этих двух рассказах больше, чем в других моих рассказах, моей души».

Повесть «Олеся» (1898), которую Чехов находил юношески сентиментальной, была как-то особенно дорога Куприну: она связана с его полесскими впечатлениями 1897 года. Тогда, недовольный своей репортерской судьбой, он оставил Киев и отправился в Полесье. Здесь он занимался совсем другими делами: управлял имением в Ровенском уезде, разводил махорку и даже, в неумной жажде новых впечатлений, «полюбопытствовал на время стать псаломщиком», увлекшись церковнославянским языком. Но главным увлечением Куприна явилась охота. Целые дни он проводил с крестьянами-охотниками, скитаясь среди безбрежных полесских лесов и болот.

Охотничьи впечатления, встречи и разговоры, местные байки и легенды, услышанные у охотничьего привала, не только дали богатую пищу сердцу и уму наблюдательного писателя, но и подсказали форму его ранних рассказов – путевой очерк, описание той или иной «местной» истории. В этих рассказах Куприна, связанных с жизнью Полесья, читатели уловили давнюю традицию – традицию «Записок охотника» Ивана Сергеевича Тургенева. И так же, как и его знаменитого предшественника, молодого Куприна прежде всего взволновала судьба крестьян, народная жизнь, увиденная им отнюдь не с показной стороны. Об этом мы можем судить по рассказам, которые в той или иной мере перекликаются с повестью «Олеся», – «Лесная глушь», «Конокрады» и несколько позднее написанный рассказ «Болото».

Современников поражал мрачный колорит и ощущение безысходности, которыми пронизаны бесхитростные истории простых людей, поведенные писателем в этих рассказах.

Пропадает ни за грош «трудолюбивый, старательный человек» Александр. «И уж чего-чего он ни делал: к попу водил свою Ониську отчитывать, господину вряднику жалобу приносил... ничего пользы нет». Даже к ворожейке обращался, пытаясь вернуть любовь жены. Видно, по-прежнему он любит ее большой, настоящей любовью и мучается своим чувством. Он, наверное, и простил бы ее, и не дошло бы дело до крутой расправы, если бы... Если бы не скрытый укор односельчан и не распространенное пренебрежительное отношение к женщине как к существу злему и опасному. «Вот уж это вправду сказано: лучше железо варить, чем с злою женою жить», «Старики кажут не даром: як больше бабу бьешь, то борщ вкуснее» – слышит он со всех сторон. Худо ему, будто загнан он в угол: «Нельзя на село показаться... от страму не знаешь, куда голову спрятать». Сочувствуя этому несчастному парню и испытывая к нему жалость, писатель весь свой гнев обращает против темной и невежественной толпы. «Я поспешно прошел мимо, дальше от этой ненавистной мне толпы, которая всегда с такой омерзительной жадностью слетается на кровь, на грязь и на падаль». Так заканчивается рассказ «Лесная глушь». Самосуд, который люди вершат быстро и бездумно, превращаясь при этом в бессмысленную «толпу», – вот то страшное в жизни деревни, что увидел и решительно осудил Куприн. Люди, творящие самосуд, – темная, бессмысленная толпа, слепая стихия, лишенная нравственных чувств. «В это время черная масса дрогнула и закачалась, точно лес под внезапно налетевшим ветром. Глухой и короткий звук ярости прокатился над ней» – так он рисует расправу крестьян с конокрадами. «Толпа не бурлила больше. Она стояла неподвижно, черным кольцом и уже начинала таять: отдельные фигуры – понурые, с робкими движениями, точно прячась и стыдась, медленно расползались в разные стороны» (рассказ «Конокрады»).

Куприн не раз видел, как голод и бесправие доводили крестьян до отчаяния, порождали вспышки безумного озлобления. Но Куприн, гуманный и сострадательный художник, столь чуткий к бедствиям повседневной жизни, оказывался беспомощным в ее объяснении, в понимании перспектив общественного развития. Тяжесть народных бедствий приводила его порой в отчаяние. Беспомощными, подавленными страхом и одиночеством, словно унаследованными с первобытных времен, предстают некоторые персонажи его рассказов.

В этом отношении примечателен рассказ «Болото» (1902), навеянный впечатлениями от жизни крестьян Зарайского уезда Рязанской губернии, где одно время Куприн подрядился обмерять 600 десятин крестьянской земли. Он так передает беспросветную тяжесть положения семьи лесника Степана.

Поздней ночью женщина над люлькой поет:

И все люди спят,
И все звери спят.

«Лениво и зловеще раздавалась в тишине, переходя из полутона в полутон, эта печальная, усыпляющая песня, и чем-то древним, чудовищно-далеким веяло от ее наивной, грубой мелодии».

Художник прибегает в рассказе к хорошо знакомому приему художественной ассоциации. Через ассоциации передается ощущение той беспросветности, обреченности, которые от века тяготеют над человеком. «Казалось, что именно так, хотя и без слов, должны петь загадочные и жалкие полулюди на заре человеческой жизни, глубоко за пределами истории. Вымирающие, подавленные ужасами ночи и своей беспомощностью, сидели они голые в прибрежных камышах, у первобытного огня, глядели на таинственное пламя и, обхватив руками острые колени, качались взад и вперед под звуки унылого, бесконечно долгого, воющего мотива». И сама эта беспросветность, тихая покорность людей «перед таинственной и жестокой судьбой» вызывает в каждом здоровом, неиспорченном сердце чувство возмущения и протеста. А в сердце художника рождает мечту показать другую – светлую и ободряющую сторону жизни, в

народной среде найти людей, которые не хотят мириться с мрачным и убогим существованием, проявляют самостоятельность и независимость.

С особым чувством Куприн всегда писал и размышлял о любви, полагая, что в ней скрыта самая волнующая тайна человека. Он был убежден, что «никаким афоризмом этого предмета не исчерпать», что «любовь – это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего Я.

Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте, не в голосе, не в красках, не в походке, не в творчестве выражается индивидуальность. Но в любви. Ибо вся вышеперечисленная бутафория только и служит что оперением любви».

Понимание любви как высшего мерила человеческой личности, облагораживающей человека и возвышающей его над обстоятельствами, с большим мастерством раскрыто Куприным в его повести «Олеся».

В ней так же, как и во многих других произведениях Куприна из народной жизни, слепая ярость толпы вершит судьбы людей: озлобленные, фанатичные женщины расправляются с героиней. Но не это определяет тональность повествования. Художник всемерно стремится преодолеть возможное тяжелое впечатление от драмы народной жизни. Его повесть – скорее элегия по утраченному счастью, гимн красоте, молодости, щедрости душевных сил человека, которые по каким-то причинам не находят своего проявления. Далеко отнюдь не по вине несчастных и обездоленных деревенских людей.

В повести Куприн поэтизирует прекрасные человеческие чувства: любовь, благородство души, близость к природе, умение наслаждаться ее гармонией и красотой. Именно природа, щедро и любовно описанная в повести, придает светлый, мажорный тон рассказу о судьбе Олеси и Ивана Тимофеевича.

Современная Куприну критика увидела и оценила этот поэтический колорит повести. «„Олеся“ – удивительный рассказ о Полесье, – сообщала читателю газета «Одесские новости», – молчаливой стране, затопленной бором; о тайне этого еще никем не исследованного бора – красавице девушке – „ведьме“; „ведьме“ любящей, великодушной... Речи „ведьмы“ полны такой нежной ласки, такой волнующей тайны, что некоторые страницы производят впечатление музыкального произведения – лесной симфонии».

Эта «лесная симфония» особенно ощутима в пейзажных картинах повести Куприна.

Вот, к примеру, его один из самых чистых поэтических пейзажей – картина природы, весеннего пробуждения, сотканная из настроений влюбленного и праздного человека, рассказчика в повести «Олеся».

«Весна наступила в этом году ранняя, дружная и – как всегда на Полесье – неожиданная. <...> Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства».

В этом описании угадывается та приобщенность писателя к миру труда, к крестьянским заботам, которая ощутима и в полотнах Саврасова и Левитана («Грачи прилетели», «Март»), и в сценах сенокоса в «Анне Карениной» Л. Толстого. Но купринское описание на этом не останавливается – ведь в его повести природа видится глазами влюбленного Ивана Тимофеевича. Картины весны созвучны его приподнятому настроению, а потому он отмечает «свежий, вкрадчивый и могучий пьяный запах весны», и его волнует «весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, – поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими». А завершается это описание все тем же ощущением трудовой рабочей весны: «Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы...»

От субъективного восприятия природы, личностных ассоциаций – возврат к объективному миру, в котором подчеркивается общезначимое, всем дорогое и знакомое, и прежде

всего – к земледельцу с его понятными весенними тревогами, заботами и ожиданиями. Таково смысловое и изобразительное богатство этого купринского пейзажа.

Как подлинный художник, Куприн знает цену поиска выразительной формы. Но он против той новизны, что порывает с опытом прошлого – с богатыми традициями реалистического искусства. Его писательское видение усилено ощущением неразрывной связи личности с окружающим миром, ответственности за жизнь каждого.

Куприн легко берет ту ношу, которая тяготит чеховского Тригорина, любившего писать лишь пейзажи («...если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч. и проч.»). Куприн, в отличие от героя «Чайки», любит писать не только пейзаж. Именно поэтому он и умеет создавать пейзаж: мудрость и знание жизни, боль за человека – всё сюда вложено.

Куприна не раз обвиняли в эстетстве, но он не ищет «чистой» красоты, не гонится за той субъективностью восприятия, за которой ничего, кроме личного произвола. «Я так вижу». Эта, как и другие, особенность художественного видения Куприна, широко проявилась в повести «Олеся»: здесь и внимание к древним, первобытным сторонам народной жизни, и привычный для русской литературы тип доброго, но слабого человека, чья доброта – головная, а не сердечная, что становится очевидным при его встрече с обаятельной и самоотверженной девушкой, и драматическая развязка их отношений, которая как бы выражает постоянное стремление писателя к голой, неприкрашенной правде.

Герой повести, Иван Тимофеевич, – неунывающий жизнелюбец, праздный, мечтательный и, по существу, безответственный человек, который, не желая того, легко может принести горе и страдание любящим и дорогим людям. Тип в жизни весьма распространенный, а в литературе хорошо знакомый нам по романам и повестям Гончарова и Тургенева.

Куприн не комментирует поведения своего героя, скуп он и на психологию. Он больше следует принципам «объективного» письма, не лишеного, однако, тонкой, едва уловимой насмешки.

Куприн вовсе не стремится к разоблачению своего героя. У Ивана Тимофеевича есть свое оправдание – его молодость, он так еще неопытен в чувствах, он виноват перед Олесей, но и сам глубоко страдает. Да и повесть написана совсем молодым писателем, в ней ощутимы настроения юношеской романтики. «Эта вещь, – говорил Куприну А. М. Горький, – нравится мне тем, что она вся проникнута настроением молодости».

Действительно, в интересе Ивана Тимофеевича к народному быту и обычаям («...и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий, песен!»), в его отношении к целованию рук («Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия»), в самом его увлечении гордой самобытной красотой «настоящей полесской колдуньи» – во всем этом много привлекательного, молодого, здорового, демократически свободного и широкого отношения к жизни.

Но увы! Все эти прекрасные качества остаются нереализованными, больше того – оборачиваются чем-то совершенно противоположным. Как будто некое вековое проклятие тяготеет над этим добрым и скромным человеком. Сам он свою «слабость» объясняет иронически-снисходительно: «В сущности, в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя». Стремясь «поколебать суеверие Олеси», он толкнул ее к неосторожному шагу – пойти в церковь, чем и вызван гнев темных деревенских женщин. О благе ли Олеси он заботился?

«Почем знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения, – весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать... над ее религиозностью и развивать в ней критическую пытливость ума».

Восхищаясь самобытностью Олеси («В ней не было ничего похожего на местных „дивчат“, лица которых... носят такое однообразное, испуганное выражение»), герой инстинктивно пытается сломать ее независимость, оригинальность, подвести под общий ранжир, как того

требует полицейская, узаконенная нравственность, прописи которой ему читает урядник: «... чтобы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия...»

Эта страсть к «развивательству» обнаруживает в «тихом и смирном» герое Куприна какой-то инстинкт деспотизма, отсутствие подлинного уважения к своеобразной духовной жизни «полесской ведьмы». Угадывается здесь и большее – та драма индивидуализма, которую, каждый по-своему, пережили и Печорин Лермонтова, и Оленин Толстого. Иван Тимофеевич оказался тоже подвержен этой застарелой духовной болезни. Ему не хватает тонкости, душевного такта, бережного и чуткого отношения к другому, что одно в состоянии оберечь от беды любимое существо. Это лишь оттеняет врожденное благородство простой крестьянской девушки. Не проклятие обидчику, а прощальное «прости» любимому человеку – вот ее последнее слово. «Высказано» оно поэтично: нитка дешевых «коралловых» бус, нарочно повешенных «на угол оконной рамы» покинутой хаты, – вот что остается на память Ивану Тимофеевичу от Олеси и «ее нежной, великодушной любви».

Финал «Олеси», ее последние строки, – одно из характерных проявлений того свойства купринского таланта, которое современники (и в том числе Бунин) высоко ценили, – «теплоты ко всему живущему».

Действительно, многоохватна эта «теплота» Куприна, которая вмещает любовь к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам – к жизни во всех ее проявлениях. Но в центре его раздумий – всегда жизнь человека, взятая в единстве со всем живущим на земле.

В повести «Поединок» (1905) одинокий и несчастный Назанский, желая удержать Ромашова от бессмысленного поединка, убеждает порвать с чуждой ему средой «бурбонов»: «Главное – не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она веселая, занятная, чудная штука – эта жизнь», «Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет».

Сам Назанский – больной, сломленный человек. И в его иступленной любви к жизни, которую он готов благословлять всегда и во всем, а в особенности в едкой неприязни к «телячьей нежности к ближнему» («любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец»), – цинизм и отчаяние человека без будущего. Но несомненно, в его патетике отозвалось в полной мере и «купринское благословение всему миру»: «Ах, как она (жизнь. – В. Э.) прекрасна! Сколько радости дает нам одно только зрение! А есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь! И есть безмернейшее наслаждение – золотое солнце жизни, человеческая мысль!»

Музыка – и мы вспоминаем предсмертное желание героя «Гранатового браслета» Желткова: «...сыграйте... сонату D-dur № 2, ор. 2». А запах цветов? Не они ли составят самое поэтичное в мировосприятии Изумруда?

Когда же два человека стреляют друг в друга... «Да разве он себя убивает – жалкий, движущийся комочек, который называется человеком? Он убивает солнце, жаркое, милое солнце, светлое небо, природу, – всю многообразную красоту жизни, убивает величайшее наслаждение и гордость – человеческую мысль!»

Купринская любовь ко всему живущему вырастает на почве его страстного протеста против насилия, против оскпления человеческой души, против повсеместного равнодушия к человеку и обману как некоему всевластному Молоху, беспощадному пожирателю человеческой дани.

Романтически наивно выражена эта мысль в легенде «Аль-Исса» (1894) и убийственно беспощадно, реалистически конкретно в знаменитой повести «Молох» (1896). Но в том и другом случае он следует Достоевскому и Толстому.

Куприн разделял и взгляды писателей на насилие. Как и его предшественники, он полагал, что высшее наказание убийце – в нем самом, в его совести.

Бесспорно, совесть – один из важнейших регуляторов внутренней жизни человека. Но сколь сложен механизм его действия, а порой ненадежен и хрупок, показал именно Достоевский.

Да, мы знаем, как сильны терзания совести у нравственно развитого человека, ставшего орудием бесчеловечной, ложной идеи насилия. Но добровольно, лишь по велению «когтистого зверя» – совести, никто из них не сошел со своей стези: их к тому принудило давление самой жизни. Но вот парадокс: Куприн убедителен там, где изображает преступника объективно и лаконично, не входя в психологические подробности. Он проявляет завидное умение обрисовать подлость одной чертой. В очерке «События в Севастополе» изображен кровавый адмирал – каратель Чухнин, подавивший восстание моряков на «Очакове» 24 ноября 1905 года. «Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноге». Так в «Изумруде» очерчен отравитель лошади: «... большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас... Когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть».

Надо беспредельно любить жизнь и ненавидеть насилие, чтобы вот так, пятью строчками, передать чувство отвращения и гадливости к подобной личности.

Непередаваем контраст между совершенством Изумруда, казалось самой судьбой предназначенного для счастья и радости победы, и тем предательским ударом, который оборвал его жизнь.

Но рассказ Куприна не аллегория, не олицетворение и не «шифровка» каких-то событий российской истории, это всего-навсего история одной лошади, у которой есть реальный прототип.

Известно, что в основе рассказа лежит действительный случай, который произошел в начале 1900-х годов в Москве: бегового жеребца, по кличке Рассвет, отравил конкурирующий с его владельцем коннозаводчик. Этот эпизод завладел воображением писателя.

Сохранились воспоминания о том, как Куприн изучал «психологию» лошади – по своей писательской привычке быть во всем точным и верным действительности. Близко знавший его критик Ф. Д. Батюшков вспоминал:

«Однажды в деревне, в Новгородской губернии, возвращались мы из какой-то поездки к соседям верхами. Подъезжая к усадьбе, я заметил потраву: чья-то лошадь забралась в овес. Я спешился, чтобы прогнать лошадь, но Александр Иванович подхватил ее за челку и привел в дом. Сел на нее верхом, заставил подняться по ступеням балкона и, как капризный ребенок, настоял, чтобы ее оставили ночевать в доме, и привязал около своей кровати. „Я хочу знать, когда и как лошадь спит, – говорил он, – хочу с ней побыть“. На другой день повторилась такая же история, но приведена была другая лошадь. Александр Иванович за ней ухаживал, кормил, поил и решил прекратить свои опыты лишь тогда, когда его спальня пропиталась запахом конюшни».

В эту пору Куприн задумал рассказ «Изумруд» (<1907>), и нельзя не признать, что «психология» лошади им представлена в высшей мере правдоподобно. Конечно, едва ли присутствие животного в комнате что-нибудь ему дало для раскрытия «внутренней жизни лошади», но ощущение ее близости как-то настраивало писателя в нужном для творчества направлении.

Газетная, «реальная», история, по сути дела, к «художественной» имеет мало отношения – это лишь внешний повод. Небольшой купринский рассказ вмещает в себя глубинные проблемы бытия: жизнь, смерть, славу, крушение, любовь и утрату, доверие со стороны сильного и гордого и обман, предательство со стороны «маленького», «равнодушного» ко всему на свете, вороватого существа. Рассказ Куприна посвящен «памяти несравненного пегого рысака

Холстомера». Он появился еще при жизни Толстого, и в нем не только признание мощи гения великого писателя земли Русской, но и тайная услада: здесь я достоин его.

По емкости письма, по простоте и образности восприятия поведения лошади, ее «психологии» эти произведения вполне сопоставимы. Много лет спустя А. М. Горький, размышляя в поучение одному молодому писателю, что значит «думать словами» и «думать образами, без слов», предложил сопоставить «Холстомер» Толстого и «Изумруд» Куприна.

Пример того, как «думает» Изумруд, – сцена состязания.

«Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. „Можно ли?“ – думает он. „Нет, еще рано, не волнуйся, – отвечают, успокаивая, волшебные руки“. И после выигранного состязания он замечает, что окружавшие его люди «чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока». «О чем они? – думает он с удивлением. – Ведь я так хорошо бежал!»

Контраст благородного и злого, их соперничество, в котором верх берет грубая сила, страшно упрямая, злая, самолюбивая, – это купринское видение мира. В «Поединке»: Ромашов – Николаев и вся офицерская среда. В рассказах «Allez!», «В цирке» – Арбузов и Джон Ребер.

Мы найдем много сходного в рисунке поведения циркового борца Арбузова и беговой лошади Изумруда: там и тут пьянящая атмосфера ристалища и тысячеглазой толпы, волнующей чувства настоящего артиста. Куприн умел и любил рисовать сказочное зрелище театра, цирка, состязания талантов, радость победы и горечь поражения.

В этом проявилась какая-то особая, присущая именно ему влюбленность в человеческую жизнь. Сам человек «чистого сердца» (по словам К. Бальмонта), он словно любит красоту, духовной и физической, людей, профессионально приобщенных к искусству, – бродячих артистов, циркачей, уличных музыкантов, порой с большим риском добывающих кусок повседневного хлеба. В них, будь то скрипач Сашка («Гамбринус») или борец Арбузов («В цирке»), есть какая-то привлекательность, притягательность для окружающих. Доктор Луховицын испытывает истинное восхищение, осматривая обнаженное тело заболевшего Арбузова. «Да, батенька, подлинно наделил вас Господь, – продолжал восторгаться доктор. <...> Атлет все время улыбался застенчиво и снисходительно. Хотя он уже давно привык показываться полуобнаженным перед одетыми людьми, но в присутствии тщедушного доктора ему было неловко, почти стыдно за свое большое, мускулистое, сильное тело».

В этой краткой характеристике душевного состояния Арбузова в непривычной для него обстановке угадывается многое (затем подтвержденное в сюжете рассказа): своеобразная целомудренность богатыря, нравственная чистота, детская доверчивость к похвалам его силе и трогательная беспомощность перед лицом драматических обстоятельств, нарушающих привычный, почти ритуальный порядок спортивной жизни. Не очень удачные попытки Арбузова отложить состязание с американцем Ребером – и прозрение. Не умом, а всем существом русский богатырь понимает безысходность ситуации. Знакомая арена и многотысячный зритель вызывают в душе Арбузова ощущение тоски.

«Весь цирк, сверху донизу наполненный людьми, был точно залит сплошной черной волной, на которой, громоздясь одно над другим, выделялись правильными рядами белые круглые пятна лиц. Каким-то беспощадным, роковым холодом повеяло на Арбузова от этой черной, безличной массы. Он всем существом понял, что ему уже нет возврата с этого ярко освещенного заколдованного круга, что чья-то чужая, огромная воля привела его сюда и нет силы, которая могла бы заставить его вернуться назад. И от этой мысли атлет вдруг почувствовал себя беспомощным, растерянным и слабым, как заблудившийся ребенок, и в его душе тяжело шевельнулся настоящий животный страх, темный, инстинктивный ужас, который, вероятно, овладевает молодым быком, когда его по залитому кровью асфальту вводят на бойню».

Не за подобные ли трезво-спокойные, беспощадные описания Куприна порой упрекали в склонности к натурализму? Но присущая ему тяга к красоте, к полноценной духовной жизни всегда вырывается из плена заземленной реальности. Финальные строки рассказа созданы в традициях высокой романтики: «Потом все исчезло: и мысль, и сознание, и боль, и тоска. И это случилось так же просто и быстро, как если бы кто-то дунул на свечу, горевшую в темной комнате, и погасил ее...» Финал – как прощальный, примиряющий аккорд... Образ гаснущей свечи – это хорошо знакомый нам символ кончины. «Погас, как светоч, дивный гений...»

«Натуралистические» детали в поэтике Куприна – тревожные, беспощадно бьющие по нервам знаки беды. Так, смерть Изумруда сопровождают желтый свет воровского потайного фонаря, грубый человеческий окрик да удар в бок каблуком. «Потом все исчезло – навсегда». Этот мрачный финал, которым завершается история лошади, по кличке Изумруд, бесспорно, выразительно акцентирует мысль художника о непрочности красоты в мире насилия и зла. Хрупкость и незащищенность высоких человеческих чувств изображает Куприн и в «Гранатовом браслете» (1911). Однако, в отличие от предыдущего рассказа, завершающие страницы «Гранатового браслета» звучат апофеозом человеческому благородству. Трагизм ситуации высветлен чувством всепоглощающей любви к женщине, а вместе с ней – и ко всему миру.

Рассказ вводит нас в сердцевину нравственных проблем Куприна, его понимания скрытых потенциалов человека, тех духовных богатств, которые дают ему возможность выстоять, как бы ни гнула и ни калечила его жизнь.

«Превосходная вещь», «...я – с праздником! Начинается хорошая литература!» – отозвался Горький о «Гранатовом браслете».

«Еще можно и должно жить, пока есть на свете любовь и сострадание», – читаем в одном раннем рассказе Куприна («Блаженный», 1896). Вслед за Достоевским именно в любви и сострадании видит Куприн основу нравственного мира личности. Для него понятие «тайну» человека – прежде всего разгадать загадку земной любви, обыкновенной любви мужчины к женщине, любви возвышенной, в известной мере идеальной.

Тайна любви для Куприна сопряжена с другой величайшей тайной человека – тайной смерти. В повести-легенде «Суламифь» (1908) Куприн писал: «Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, – царица, потому что любовь прекрасна!» Это отнюдь не переложение известной книги Библии. Старая песнь пропета на новый, чисто купринский лад!

Куприну не чужда поэтика сказок и легенд, с их условным сюжетом и стилизованным языком. Но «Суламифь» – единственная в его творчестве повесть, написанная в условно-романтическом ключе. Собственно исторические и бытовые подробности, которые увлекли бы фантазию романиста, мастера исторического жанра, мало интересовали Куприна. Дворцовые интриги, мрачные ритуалы языческих капищ и даже деяния царя Соломона, строителя Храма и мудрого правителя, строго говоря, лишь фон для волнующей писателя темы самоотверженной любви, неизбежно завершающейся гибелью.

«Суламифь», этот «гимн женской красоте и молодости» (по оценке критика В. Воровского), – повесть-притча, реквием и плач по столь безвременно гибнущей красоте. Это скорбь и передана торжественным языком старых книг. «Положи меня, как печать, на сердце твоём, как перстень на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь и жестока, как ад, ревность: стрелы ее – стрелы огненные».

Сердце художника словно жаждет искупающих слёз о переданной в старинной легенде женской любви – «такой нежной и пламенной, преданной и прекрасной, которая одна дороже

богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти».

В какой мере эта идея волновала Куприна, показывает то, что на протяжении многих лет он не раз возвращается к ней – от «Олеси» до «Гранатового браслета».

Любовь и смерть – «эстетические мерилы» в мире Куприна, но в «Гранатовом браслете» торжество любви над смертью утверждается не на материале древней библейской легенды, а на материале реальной жизни, судьбы вполне конкретного человека. Повесть Куприна «Гранатовый браслет» не красивый вымысел писателя, а изумление художника перед красотой самой жизни, которая отнюдь не уступает древним преданиям.

Работая над повестью в сентябре – октябре 1910 года, Куприн писал своему другу Ф. Д. Батюшкову:

«...Занят тем, что полирую рассказ „Гранатовый браслет“. Это – помнишь? – печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Желткова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова (Д. Н. – теперь губернатор в Вильне) ... Лицо у него, застрелившегося (она ему велела даже не пробовать ее видеть), – важное, глубокое, озаренное той таинственной мудростью, которую постигают только мертвые... Но трудно... Главная причина – мое невежество в музыке... Да и светский тон».

Действительно, в этом произведении Куприн описывает интимную жизнь малознакомой ему светской среды. Но главное и привлекательное для него как художника в повести другое – загадка всепоглощающего чувства, пред которым бессильна и сама смерть.

Над этой загадкой ломают голову персонажи «Гранатового браслета», подозревая в ней кто – корысть, кто – напасть, сумасшествие, а кто – редчайшее проявление истинной любви. Да и сам Желтков, этот рыцарь самоотверженной любви, как и все его окружающие, в затруднении. Он не виноват, поясняет Желтков в предсмертном письме, что «Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь». (Эта извечная для героев Куприна ссылка на судьбу здесь не унижает человека: это Судьба, которой удостоен Человек.)

«Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас».

Что скрыто в этой всепоглощающей страсти героя, которой Куприн слагает восторженный гимн? Стремление уйти в мир грёз, мир красоты и любви, отвернувшись от тягостных страданий и реальных бедствий повседневности? «Превыше всей этой борьбы, раздирающей народы и классы, он готов поставить единое вечное – женскую любовь», – писал критик Боровский по поводу «Суламифи». Не то же ли и в «Гранатовом браслете»? Нет, здесь другое. В этой повести – прославление человека, его права на выбор, его твердости в защите человеческого достоинства. Письмо Желткова – своеобразный манифест. «Гранатовый браслет» внушает веру в человека. Не жалким и потерянным, а беспредельно любящим уходит Желтков из жизни: «*Да святится Имя Твое!*» Его прощальное письмо – благословение любви, жизни. Так прощаются с жизнью герои. Так ушел из жизни гётевский Вертер, обратившись в свой последний миг к небу, к таинственному свету созвездия Большой Медведицы. О таком достоинстве человека перед лицом небытия мечтал Достоевский. Он звал «не бояться идеальных тем».

Но идеальное, как не раз показывал Достоевский, – вне сферы обыденных интересов людей, оно вызывает недоверие, стремление упростить и снизить его смысл. Так и в повести Куприна чистые, возвышенные отношения Желткова и Веры Николаевны аморальны в глазах других, например, деверя Николая Николаевича, привыкших понимать под любовью нечто совершенно другое – флирт, кокетство, необузданную страсть, эротику.

Мир Желткова трагически несовместим с миром семьи Веры Николаевны Шеиной, в лучшем случае он может быть принят лишь в шаржированном, то есть опошленном, виде – как шаржированные рассказы и иллюстрации в семейном альбоме. Но у трагедии в жизни нередко есть и комическая сторона. Литературная история любви Веры и некоего телеграфиста

с ее травестийным окончанием («...он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами...») – та «естественная» обратная сторона трагического повествования у Куприна, как шут – спутник короля Лира в трагедии Шекспира.

От пародии на сентиментальную историю – к возвышенной романтике (письмо Желткова). От чинного благополучия семейной счастливой женщины – к позднему прозрению, что ее «жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», – на такой смене настроений и самооценок персонажей строится эта повесть.

Русская литература всегда умела проверить человека в сфере интимных чувств. Она не признавала его ни «новым», ни «передовым», если в личной жизни он не был таковым. Она даровала ему надежду и воскресение через любовь и признание женщины. «Гранатовый браслет» Куприна находится в русле этой традиции, и в то же время он является предупреждением всем людям холодного сердца.

Старый Генерал Аносов, скорее традиционный резонер, чем действующее лицо рассказа, рассуждает: не женщина виновата, что «любовь у людей приняла такие пошлые формы... Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества – поэты, романисты, музыканты, художники?».

Повести и рассказы Куприна о любви – настоящие «романы воспитания чувств». В них, может быть, наиболее полно воплотился талант художника, столь влюбленного в красоту, в справедливость и достоинство человека.

«Не бойтесь жизни», – звал он своих современников. Сегодня купринское «благословение» всему живущему приобрело новый смысл: берегите жизнь. В нем – завет, мудрый наказ-предостережение: не забывать, сколь труден, трагически сложен каждый шаг человеческой истории, сколь хрупка и бесценна сама Жизнь. В этом – главный урок Куприна.

В. Этов



Олеся



I

Мой слуга, повар и спутник по охоте – полесовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

– У, какой ветер, паныч, на дворе, – сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. – Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

– Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

– Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и – а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, – думал я, сидя в вагоне, – совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать – так все рассказывать) уж успел тиснуть в одной

маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело, – отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай Буг», что должно было обозначать: «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и всё порывались целовать у меня руки – старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки – хотя это сначала казалось мне неприятным – я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в середине болит» и «ни есть, ни пить не могу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не поп... мне этого не полагается... Что у тебя болит?»

– В середине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть середине, так что даже ни пить, ни есть не могу.

– Давно это у тебя сделалось?

– А я знаю? – отвечает она также вопросом. – Так и печет и печет. Ни пить, ни есть не могу.

И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

– Да вы не беспокойтесь, – посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, – сами вылетят. Присохнет, как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю – нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» – «Я, – говорит, – больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!» Нюхает... «Что, легче?» – «Як будто полегшало...» – «Ну, так и ступай с Богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмолы.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

– Что тебе, Ярмола? – спросил я.

– Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы, – смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. – Мне бы только мое фамилие...

– Зачем это тебе? – удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброеде; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: – Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

– А видите, какое дело, паныч, – ответил Ярмола необыкновенно мягко, – ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы – заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, – такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа – все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, – этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

– Ну скажи, Ярмола, – «ма». Просто только скажи – «ма», – приставал я к нему. – Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори – «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

– Нет... Не мог у...

– Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто – «ма», вот как я говорю.

– Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

– Мне бы только мою фамилию! – застенчиво упрашивал он меня. – Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук – и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмолу, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

– Ну, Ярмола, давай учиться, – говорил я.

Он боком подходил к столу, облакачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскорузлыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

– Писать?

– Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву – «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопросительно.

– Что ж ты не пишешь? Забыл?

– Забыл... – досадливо качал головой Ярмола.

– Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

– А-а! Колесо, колесо!.. Знаю... – оживлялся Ярмола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любовался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуя глаза.

– Что же ты стал? Пиши дальше...

– Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал:

– Так же, как первая?

– Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы – «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас известна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

– А что вы думаете, панычу, – говорил иногда Ярмола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, – если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещицкого дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII столетия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый, озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой.

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воюющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос, до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычания. Порою бог весть откуда врывается этот страшный гость и в мою комнату, пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора... И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола – странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной, разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

– Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

– Ветер? – отозвался Ярмола, лениво поднимая голову. – А паныч разве не знает?

– Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

– И вправду не знаете? – оживился вдруг Ярмола. – Это я вам скажу, – продолжал он с таинственным оттенком в голосе, – это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

– Ведьмака – это колдунья, по-вашему?

– А так, так... колдунья.

Я с жадностью накинулся на Ярмолу. «Почем знать, – думал я, – может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

– Ну а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? – спросил я.

– Не знаю... Может, есть, – ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. – Старые люди говорят, что были когда-то... Может, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

– Была у нас лет пять тому назад такая ведьма... Только ее хлопцы с села прогнали!

– Куда же они ее прогнали?

– Куда!.. Известно, в лес... Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла¹ и щепок не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шее.

– За что же так с ней обошлись?

– Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите... Один раз просила она у нашей молодежи злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». – «Ну, добре, – говорит, – будешь ты помнить, как мне злота не дала...» И что же вы думаете, панычу, с тех самых пор стало у молодежи дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят...

– Ну а где же теперь эта ведьмака? – продолжал я любопытствовать.

– Ведьмака? – медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола. – А я знаю?

– Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

– Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапокчи из цыганок... Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам в село. И девочка с ней была – дочка и ли внучка... Обоих прогнали...

– А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

– Бабы бегают, – пренебрежительно уронил Ярмола.

– Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

– Я не знаю... Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет... Знаете – болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясца ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полеская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

– Послушай, Ярмола, – обратился я к полесовщику, – а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

– Тьфу! – сплюнул с негодованием Ярмола. – Вот еще добро нашли.

– Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

– Я?! – воскликнул он с негодованием. – А и ни за что! Пусть оно там бог ведает что, а я не пойду!

– Ну вот, глупости, пойдешь.

– Нет, панычу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! – опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. – Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня Бог боронит. И вам не советую, паныч.

– Как хочешь... а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

– Ничего там нет любопытного, – пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

– Как зовут эту ведьму?

– Мануйлиха, – ответил Ярмола с грубой мрачностью.

¹ *Кубло* – жилище, свой дом, угол.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Яромола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку – Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Яромой, не переставая скулить.

III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

– Нужно ружья почистить, паныч.

– А что? – спросил я, потягиваясь под одеялом.

– Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

– Ну, теперь будем обходить его, – сказал Ярмола. – Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... – Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. – Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы – нежилой развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня...

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика – характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, залихватый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмолы, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У – бый! У – бый!», первый слог – протяжным резким фальцетом, а второй – отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнался за зайцем.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

– Что же вы, паныч, не стали ему на дороге? – крикнул он и укоризненно зачмокал языком.

– Да ведь далеко было... больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился:

– Ну, ничего... Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, – он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услышал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречу с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмолу. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник, – подумал я. – Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то грязные веточки, выпиравшиеся горбом наружу.

Я нажал на клямку² и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

– Эй, добрые люди, кто из вас дома? – спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидел старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это – Мануйлиха, ириновская ведьма», – мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее взгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.

– Здравствуй, бабка! – сказал я как можно приветливее. – Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

– Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди... А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то? – спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

– Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

² Клямка – задвижка.

– Нет молока, – сердито отрезала старуха. – Много вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь...

– Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

– И верно, батюшка, совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал – посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на зава-линке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот...

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришла в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разобрал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха... А кто такой – неведомо... Лета-то мои не маленькие... Ногами егозит, стрекочит, сокочит – чистая сорока...»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

– Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться? – спросил я, возвышая голос.

– А вон, в кадке, – кивнула головой старуха.

Вода отзывалась болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

– Иди, иди... Иди, мблodeц, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку... Ступай, батюшка, ступай...

Мне и действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

– Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам, – поддразнил я ее, пряча монету. – Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты деньги. Но жадность взяла верх.

– Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем, – прошамкала она, с трудом поднимаясь с полу. – Никому я не ворожу теперь, касатик... Забыла... Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сторбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

– Сыми-ка... Лево́й ручко́й сыми... От сердца...

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были свалены из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную

звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

– Позолоти, барин хороший... Счастлив будешь, богат будешь... – запела она попрошайническим, чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

– Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, – начала она привычной скороговоркой. – Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскоро-сти получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь... Не так чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то...

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насто-рожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой чи цвит, чи не цвит
Калиноньку ломит.
Ой чи сон, чи не сон
Головоньку клонит.

– Ну иди, иди теперь, соколик, – тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. – Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел...

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечных птичьих головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

– Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались, – воскликнула она, громко смеясь, – посмотри, какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

– Вот барин зашел... Пытает дорогу, – пояснила старуха. – Ну, батюшка, – с решительным видом обернулась она ко мне, – будет тебе прохладиться. Напился водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания...

– Послушай, красавица, – сказал я девушке. – Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

– Это у тебя всё ручные птицы? – спросил я, догоняя девушку.

– Ручные, – ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня. – Ну вот, глядите, – сказала она, останавливаясь у плетня. – Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

– Вижу...

– Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время, когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В ней не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати – двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаша свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

– Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? – спросил я, остановившись у забора. Она равнодушно пожала плечами.

– Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

– Да разве волки одни... Снегом вас занести может, пожар может случиться... И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

– И слава богу! – махнула она пренебрежительно рукой. – Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...

– А то что?

– Много будете знать – скоро состаритесь, – отрезала она. – Да вы сами-то кто будете? – спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица боятся каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить:

– О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный, словом – я никакое начальство.

– Нет, вы правду говорите?

– Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

– Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

– Да я и сам не знаю, как тебе сказать... Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно – заблудился... Ну а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

– Плохо нам от них приходится... Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник – тащит, приедет становой – тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница... Эх! Да что и говорить!

– А тебя не трогают? – сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой снизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество.

– Не трогают... Один раз сунулся ко мне землемер ка кой-то... Поласкаться ему, видишь, захотелось... Та к, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, – с тобой и впрямь опасно шутить».

– А мы разве трогаем кого-нибудь! – продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. – Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю, – чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

– Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуete... А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и – как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

– Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные... Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что... вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше...

– Ты боишься?

– Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. – И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. – А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие... Ну, однако, до свидания, – заторопилась она. – Не знаю, как величать-то вас по имени... Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

– Постой, постой! – крикнул я. – Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне.

– Аленой меня зовут. По-здешнему – Олеся.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору, он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

– Там... я зайца на кухню занес... жарить будем или пошлете кому-нибудь?

– А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сегодня? – сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

– Отчего же мне не знать? – грубо проворчал Ярмола. – Известно, к ведьмакам ходили...

– Как же ты узнал это?

– А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след... Эх, паны-ыч! – прибавил он с укоризненной досадой. – Не следовало вам такими делами заниматься... Грех!..

IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и – как всегда на Полесье – неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречных камней и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, – тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, – поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы...

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всех ее движениях, в ее словах, – думал я, – есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня к Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности – эта гордая уверенность в своих силах, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собою полфунта чаю и несколько пригоршен кусков сахара.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряталась, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатило по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печки.

– Здравствуй, бабуся! – сказал я громким, бодрым голосом. – Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

– Ничего не помню, батюшка, – зашамкала старуха, недовольно трясая головой, – ничего не помню. И что ты у нас позабыл, – никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые... Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись... так-то...

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

– Не бойся, бабка, – сказала она примирительно, – это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться, – прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

– Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гость на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес, – сказал я, доставая из сумки свои свертки.

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

– Никаких мне твоих гостинцев не нужно, – проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья. – Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то? – вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке.левой рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но, в сущности, требующая огромного многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

– А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала, – произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила: – Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

– Да, гадала. А что?

– Да так себе... Просто спрашиваю... А вы верите? – кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

– Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

– Нет, вообще...

– Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почему знать? Говорят, бывают случаи... Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

– Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

– Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трюфевый интерес... Я и позабыл даже.

– Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости... Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

– Чего же она боится?

– Известно чего, – начальства боится... Урядник приедет, так завсегда грозит: «Я, – говорит, – тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, – говорит, – что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без срока, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

– Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно... Ну а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замялась, но всего лишь на мгновение.

– Гадаю... Только не за деньги, – добавила она поспешно.

– Может быть, ты и мне кинешь карты?

– Нет, – тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

– Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после... Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

– Нет. Не стану. Ни за что не стану.

– Ну уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать... Почему ты не согласна?

– Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя...

– Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

– Нет, нет, нельзя... нельзя... – зашептала она с суеверным страхом. – Судьбу нельзя два раза пытаться... Не годится... Она узнает, подслушает... Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олесе какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

– Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло? – попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

– Нет... Лучше не надо, – сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение. – Пожалуйста, не просите... нехорошо вам вышло... Не просите лучше...

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: был ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

– Ну хорошо, я, пожалуй, скажу, – согласилась наконец Олеся. – Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить, так уже все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете – богатым никогда не будете... Говорить дальше?

– Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

– Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы... Настанет такое время, что руки сами на себя наложить за хотите... Та кое у вас дело одно выйдет... Но только не посмеете, так снесете... Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году... Я не знаю, уж когда именно, – карты говорят, что очень скоро... Может быть, даже и в этом месяце...

– Что же случится в этом году? – спросил я, когда она опять остановилась.

– Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трфовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами...

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

– Что вы смотрите? – покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. – Ну да, вроде моих, – продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

– Так ты говоришь – большая трфовая любовь? – пошутил я.

– Не смейтесь, не надо смеяться, – серьезно, почти строго, заметила Олеся. – Я вам все только правду говорю.

– Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

– Дальше... Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит... А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

– Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

– Ну уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, – не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стряется... Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

– И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

– И карты... Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю, даже говорить мне с ним не нужно.

– Что же ты видишь у него в лице?

– Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг делается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине³ удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые Святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевелинуться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза закрыты, а губы черные... Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести... Всю ночь его били... Злой у нас народ здесь, безжалостный... В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон.

– Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

– А зачем говорить? – возразила Олеся. – Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился... Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь... Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать – это не от нас... это в нашей крови так.

Она перестала пряхать и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

³ Млин – мельница.

V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

– Иди ужинать, Олеся, – позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне, – может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим... Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой...

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся, в свою очередь, попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника – похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей – чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

– Хотите, я вас провожу немножко? – предложила Олеся.

– Какие такие проводы еще выдумала! – сердито прошамкала старуха. – Не сидится тебе на месте, стрекоза...

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

– Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчас и назад.

– Ну ладно, уж ладно, верченая, – слабо отбивалась от нее старуха. – Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборожденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну поднимали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» – первого цветка Полесья.

– Послушай, Олеся, – начал я, – мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься... Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка... как бы это выразиться?

– Колдунья? – спокойно помогла мне Олеся.

– Нет... Не колдунья... – замялся я. – Ну да, если хочешь – колдунья... Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?... Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

– Нет, отчего же, – отозвалась она просто, – что ж тут неприятного? Да, она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

– Что же она умела делать? – любопытно спросил я.

– Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала... да всего и не перечислишь.

– Знаешь что, Олеся?... Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мной откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это – одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

– Думайте, как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

– Значит, ты твердо веришь колдовству?

– Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары... Я и сама многое умею.

– Олеся, голубушка... Если бы ты знала, как мне это интересно... Неужели ты мне ничего не покажешь?

– Отчего же, покажу, если хотите, – с готовностью согласилась Олеся. – Сейчас желаете?

– Да, если можно, сейчас.

– А бояться не будете?

– Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

– Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

– Что ты хочешь делать? – спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

– А вот сейчас... Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

– Не бойтесь, живы останетесь, – усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

– Ну что? Довольно с вас? – с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик. – Хотите еще?

– Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

– Что бы вам такое показать? – задумалась она. – Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге... Только, смотрите, не оборачивайтесь назад.

– А это не будет страшно? – спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

– Нет, нет... Пустяки... Идите...

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

– Идите, идите! – закричала Олеся. – Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет... Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

– Ну что? Довольны? – крикнула она, сверкая своими белыми зубами. – Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

– Как ты это сделала? – с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок. – Это не секрет?

– Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не сумею я объяснить.

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать, отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть... Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера⁴, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

– О! Я еще много чего умею, – самоуверенно заявила Олеся. – Например, я могу нагнать на вас страх.

– Что это значит?

– Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

– Ну уж это совсем просто, – усомнился я. – Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

– О нет, нет... Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду... Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату... Вы сидите где-нибудь... ну хоть у стола... я подкрадываюсь к вам сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить... все крепче, крепче, крепче... а сама гляжу на вас... вот так – смотрите...

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы – работа уж не помню какого художника⁵. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

– Ну полно, полно, Олеся... будет, – сказал я с деланным смехом. – Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься, – тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

– Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не выдавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла.

– Да я вовсе не умею и читать-то.

– Ну, тем более... А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

– Да, понимаю. Это все от бабушки... Вы не глядите, что она такая с виду! У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет... Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

– Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

⁴ ...отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера... – Шарко Жан Мартен (1825-1893) – французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии; одно время работал главным врачом в Сальпетриере, больничном комплексе для женщин в Париже.

⁵ ...голова Медузы – работа уж не помню какого художника. – Имеется в виду картина русского живописца П. А. Сведомского (1849-1904) «Медуза».

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

– Не знаю... Да она об этом и не любит говорить. Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, мне пора, – заторопилась Олеся, – бабушка будет сердиться. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

– Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому невольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная, самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня спрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

– Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем зайке, мучительно застрывшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижный ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

– Что такое Петербург? Местечко?

– Нет, это не местечко; это самый большой русский город.

– Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету? – наивно пристала она ко мне.

– Ну да... Там все главное начальство живет... господа большие... Дома там все каменные, деревянных нет.

– Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани? – уверенно спросила Олеся.

– О да... немножко побольше... так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народу живет вдвое больше, чем во всей Степани.

– Ах, боже мой! Какие же это дома? – почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

– Ужасные дома. В пять, шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

– Самую большую? Вижу.

– Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

– Ну уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город, – сказала Олеся, покачивая головой. – Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно делается. Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом, – так бы бросила все и без оглядки побежала... Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

– Ну а если твой муж будет из города? – спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

– Вот еще! – сказала она с пренебрежением. – Никакого мне мужа не надо.

– Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и всё же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь – тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

– Ах, нет, нет... пожалуйста, не будем об этом, – досадливо отмахивалась она. – Ну к чему этот разговор?.. Прошу вас, не надо.

– Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты – такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зарок будет.

– Ну что ж – и полюблю! – сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся. – Спрашиваться ни у кого не буду...

– Стало быть, и замуж пойдешь, – поддразнил я.

– Это вы, может быть, про церковь говорите? – догадалась она.

– Конечно, про церковь... Священник вокруг аналоя будет водить, дьякон запоет «Исаия ликуй», на голову тебе наденут венец...

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

– Нет, голубчик... Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили... Нам в церковь и заходить-то нельзя...

– Всё из-за колдовства вашего?

– Да, из-за нашего колдовства, – со спокойной серьезностью ответила Олеся. – Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана *ему*.

– Олеся... Милая... Поверь мне, что ты сама себя обманываешь... Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

– Нет, нет... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вот здесь, – она крепко приоткрыла руку к груди, – в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не *он*? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от *него* идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторрах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену, – Олеся, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения... «Ну, хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, подарю, – говорила она, возвышая голос в увлечении спора, – а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и

тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневицу, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончился этот спор всегда тем, что и я и Олеся умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олеся и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вселило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы всё сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске...

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в его лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

– Куда там! Пустое это дело, паньч, – говорил он с ленивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я поднимал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Нема часу, паньч... нужно пашню сегодня орать», – чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом... Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной, как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

– Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, – сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

– Нет... что же у нас могло случиться особенного? – произнесла она глухим голосом. – Все как было, так и осталось.

– Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны... А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

– Право же, ничего нет... Так... свои заботы, пустячные...

– Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри – ты сама на себя непохожа сделалась.

– Это вам так кажется только.

– Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам... Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

– Ах, да правда, не стоит и говорить об этом, – с нетерпением возразила Олеся. – Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

– Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку, – повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеси. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

– Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал, – говорила Мануйлиха, – а потом и пошел и пошел. «Выбирайся, – говорит, – из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, – говорит, – я в следующий раз приеду и застаю тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, – говорит, – солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя родина, бабушка, далекая, город Амченск⁶... У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты господи, несчастье мое!

– Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? – спросил я.

– Да вот поди ж ты... Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом...

– Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом... Мужики на тебя рассердились...

– Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

⁶ Амчѣиск – совр. город Мценск Орловской области.

– Бабушка, а может быть, все это вранье одно? – заметил я. – Просто-напросто уряднику «красенькую» захотелось получить.

– Давала, родной, давала. Не бере-ет! Вот история... Четвертной билет давала – не берет... Куд-да тебе! Так на меня выверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

– Бабушка! – укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

– Чего там – бабушка! – рассердилась старуха. – Я тебе уже двадцать пятый год – бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь, после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

– Есть врядник, – проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

– Что такое? – спросил я в недоумении.

– Говорю, что врядник приехал, – повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни. – Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарыхтение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, шоколадного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влѣк высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли, – другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

– Мое почтение, Евпсихий Африканович! – крикнул я, высовываясь из окошка.

– А-а, мое почтенье-с! Как здоровьице? – отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

– Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой.

– Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело – утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

– Жаль, жаль... А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек...

– Не могу-с. Долг службы...

– Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребу как детей родных воспитывал... Зашли бы... А я вашему коньку овса прикажу дать.

– Ведь вот вы какой, право, – с упреком сказал урядник. – Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки-то? Сливянка?

– Какое сливянка! – махнул я рукой. – Старка, батюшка, вот что!

– Мы, признаться, уж подзакусили, – с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.